

УДК 82.0

Об одной цитате в переписке А. Пушкина

Кранк Эдуард Освальдович,
кандидат философских наук, кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Чувашского государственного института культуры и искусств, г. Чебоксары

Аннотация. В статье утверждается мысль, что источником словосочетания «мимолётное виденье» из знаменитого стихотворения А. Пушкина является переиначенная цитата из Дж. Г. Байрона. Романтическая лирика А. Пушкина определяется идеальным женским образом, который в пушкинистике известен как «утаённая любовь». Не имея достаточных оснований закрепить легендарный образ за кем-либо из претенденток на него, мы рассматриваем его в контексте отхода поэта от романтической (пророческой) маски, датируемого временем северной ссылки поэта.

Ключевые слова: Пушкин, романтизм, утаённая любовь, мимолётное мгновение, пророк.

Второй встрече Пушкина с А. П. Керн летом 1825 г. в Тригорском и Михайловском, ознаменованной великим стихотворением «Я помню чудное мгновение...», предшествовала переписка генеральши со своей кузиной Анной Вульф, которая, в свою очередь, передавала Керн впечатления Пушкина о ней. А. П. Керн обмолвилась в своих воспоминаниях [Керн, 1989, с. 30], что, среди всего прочего, в одном из писем к ней Анны Вульф «Пушкин приписал сбоку из Байрона»: «Une image qui a passe devant nous, que nous avons vue et que nous ne reverrons jamais» [«Образ, который мелькнул перед нами, который мы видели и которого не увидим более никогда» – фр. – Э.К.], сообщая посредством этой французской цитаты из английского поэта о том впечатлении, какое произвела юная генеральша на молодого поэта («Как мимолетное виденье, / Как гений чистой красоты») во время их первой встречи у Олениных в Петербурге в 1819 г. Как указывается в комментариях к воспоминаниям Анны Керн, приписка Пушкина представляла собой искажённую цитату из посвящения Ианте, предваряющего «Чайльд-Гарольда» [Байрон, 1981, с. 137].

С большой долей скепсиса можно допустить, что это есть перифраз (весьма вольный и приближенный) первой строфы посвящения, которая выглядит следующим образом:

Not in those climes where I have late been straying,
Though Beauty long hath there been matchless deem'd;
Not in those visions to the heart displaying
Forms which it sighs but to have only dream'd,
Hath aught like thee in truth or fancy seem'd;
Nor, having seen thee, shall I vainly seek
To point those charms which varied as they beam'd –
To such as see thee not my words were weak;
To those who gaze on thee what language could they speak? [Childe ..., с. 9]

[Перевод:

Не в тех странах, где я скитался прежде,
Хотя именно там много думали о Красоте;
Не в тех видениях, что разыгрываются в сердце,

Выражается то, о чём только мечтается;
В действительности должен я увидеть тебя или в фантазии:
И, увидев тебя, я стану непременно искать,
Как изобразить те чары, что так неверно сияют, —
Но для тех, кто тебя не видит, слова мои слабы;
С теми же, кто прельщен тобой, на каком языке мне говорить?.. – Англ.]

В Гурзуфе Пушкин читал Байрона в подлиннике. П. И. Бартенев пишет: «Байрон был почти ежедневным его чтением: Пушкин продолжал учиться по-английски, с помощью Раевского-сына... Пушкин часто разговаривал и спорил с старшею Раевской о литературе. Стыдливая, серьёзная и скромная Екатерина Николаевна хорошо знала английский язык, переводила Байрона и Вальтер-Скотта по-французски, но втихомолку уничтожала свои переводы. Брат сказал о том Пушкину, который стал подбирать клочки изорванных бумаг и обнаружил тайну. Он восхищался этими переводами, уверяя, что они чрезвычайно верны» [Бартенев, 1914, с. 36].

Ценность приведённой цитаты из Байрона состоит в том, что она прекрасно сочетается с легендой об «утаённой любви» Пушкина. Нам кажется неубедительной ставшая уже общепринятой версия П. Щеголева о том, что «утаённая любовь» – это Мария Раевская (в замужестве Волконская). Хотя мы и не утверждаем, что этой «утаённой любовью» была Екатерина или Елена. Судя по элегии «Редет облаков летучая гряда...», где образ возлюбленной («девы юной») неотделим от «вечерней звезды», а также имея в виду письмо генерала М. Ф. Орлова жене (Екатерине Николаевне Орловой, урождённой Раевской) [Томашевский, 1990, с. 107], где он говорит, как в разлуке с нею глядел на звезду, которую она ему показывала когда-то, называя её своей («И именем своим подругам называла»), – можно заключить, что в Гурзуфе Екатерина занимала место в сердце Пушкина. Следующая встреча с дочерьми генерала Н. Н. Раевского-старшего (после Крыма) состоялась в ноябре 1820 г. в Каменке, имении Давыдовых. Там, кстати заметить, был и генерал Орлов, и вполне может быть, что даже если Орлов и не сделал тогда формального предложения Екатерине, то, очевидно, именно в Каменке оформились его чувства к старшей дочери почтенного генерала и намерение жениться на ней. Пушкин был тому невольным свидетелем, и в этом ключе его флирт с Аглаей Давыдовой можно представить в качестве паллиативного разрешения безответного чувства к Екатерине. Впрочем, тот факт, что Елена Раевская, столь ценившая поэта, не оставила о нём совершенно никаких воспоминаний, весьма красноречив.

В том же отношении, в каком французская приписка Пушкина в письме Анны Вульф есть перифраз английского текста из Байрона, эту «утаённую любовь» можно транскрибировать в «призрак нежный», вдохновлявший поэта при написании «Бахчисарайского фонтана»:

Чью тень, о други, видел я?
Скажите мне: чей призрак нежный
Тогда преследовал меня,
Неотразимый, неизбежный?..

Следовало бы оставить попытки привязать этот «нежный призрак» к кому-либо из представительниц прекрасного пола в окружении Пушкина во время его пребывания на Юге, если бы не одно обстоятельство. Почти десять лет спустя, в письме от февраля 1830 г. к Каролине Собаньской, поэт, вспоминая о начале своего увлечения ею, писал: «Дорогая Элеонора, позвольте дать вам это имя, которое мне напоминает [и ваше]

[и идеальное очарование] [одну из женщин] о жгучем чтении юных лет моих [и призрак] и нежный призрак тогда меня пленивший...» [оригинал по-французски. – Э.К.] [Рукою..., 1935, с. 182]. Соединение адресата с «призраком нежным» в том виде, как это сделано в письме, даёт основание заключить о конкретном воплощении в Каролине отвлеченного образа. Заметим, что известные два письма начала тридцатых годов действительно адресованы Каролине Собаньской, окончательно не доказано; кроме того, предположение о том, что эти тексты представляют собой не черновики частных писем, а наброски художественного произведения, имеет свои резоны.

Имя «Элеонора», которым Пушкин называет Собаньскую (и которое, по всей видимости, взято им из романа Бенжамена Констана «Адольф»), является в «Арапе Петра Великого», где Пушкин повествует о своём легендарном прадеде, наделяя его, в сущности, собственными психологическими чертами. Образ Ибрагима Ганнибала полярно отстоит от «нежного призрака»: «Он чувствовал, что для них он род какого-то редкого зверя, творения особенного, чужого, случайно перенесённого в мир, не имеющий с ним ничего общего. Он даже завидовал людям, никем не замечаемым, и почитал их ничтожество благополучием». Эту характеристику, с известными оговорками, можно отнести к самому поэту, руководствуясь параллелями: Пушкин – Собаньская, Ибрагим – Элеонора, причём скрепляющим звеном тут является женское имя из Бенжамена Констана, которым Пушкин именуется призрак нежного – Собаньскую.

Другими словами, призраку нежному полярно противостоит «какой-то редкий зверь, творение особенное, чужое», этому ангелоподобному существу – существо мрачное, «чёрное», «negre» («потомок негров безобразный»), «обезьяна» (одна из лицейских кличек Пушкина). Эта поляризация женственного идеального очарования и мужественного демонического образа определяет поведение Пушкина не только в пору его южных перемещений, но и позднее, в московском и петербургском свете. Весьма характерен в этом отношении отзыв Долли Фикельмон о Пушкине в её дневнике: «...невозможно быть более некрасивым – это смесь наружности обезьяны и тигра» [А. С. Пушкин..., 1985, Т. 2, с. 140].

Ощущение себя каким-то диковинным зверем среди нормальной публики определило жестокое отчуждение, существовавшее между Пушкиным и современной ему средой. Обмолвка мемуаристки Анны Керн о приписке Пушкина к письму Анны Вульф может быть парадоксальным образом перевернута, переадресована «методом от противного» (или, если продолжать математическую лексику, «по абсолютной величине») к самому поэту, вся жизнь которого являет собой непрерывную титаническую попытку утвердить своё равноправие с другими, нормальными людьми. Сугубой мизантропией веет от знаменитых строк, когда, вне поэзии, «меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он [поэт]». В этом отношении чрезвычайно характерно письмо Пушкина брату Льву, написанное в Кишинёве между 4 сентября и 6 октября 1822 г. В нём поэт, говоря о вступлении Льва во взрослую жизнь, даёт ему советы, полные поистине мизантропического отношения к окружающим [Переписка..., 1982, с. 19–22]. В этом письме нашла своё выражение сильнейшая степень отъединённости Пушкина от людей, столь рано осознанная молодым поэтом. Комментарии, приводимые пушкинистами к этому письму, обычно такого рода, что оно выражает не столько мысли и чувства самого поэта, сколько байроническую манеру восприятия жизни, которая была свойственна поэту в романтический период. См., например, замечание В. Ф. Саводника: «Мы слишком хорошо знаем Пушкина для того, чтобы думать, что эти поучения вполне соответствовали его действительному образу мыслей и чувств; но они свидетельствуют о его настроении в эпоху увлечения Байроном и о той аффектации мизантропии и разочарования, которую он считал нужным проявлять в обществе» [Пушкин, 1926, с. 256–257]. Гораздо большего

внимания, на наш взгляд, заслуживают комментарии П. И. Бартенева, который, допуская, что эти поучения «не тверды», всё же признает: «...во всяком случае они искренни и необычайно важны для оценки его [Пушкина. – Э.К.]. Прежняя жизнь его заставляет думать, что он действительно мог извлечь их из собственного опыта» [Пушкин, 1926, с. 256].

В этом психологическом контексте поступки «Беса Арапского» (кличка, бывшая в ходу среди столичных друзей Пушкина, пока Пушкин был в Бессарабии) представляют собой череду каких-то немыслимых эскапад, часто скандального характера, с целью утвердить себя в качестве прежде всего частного лица (ибо как поэт, Пушкин утверждён в самом начале своего поприща). Более того, уже вернувшись из Михайловского, вполне «пере-бес-ившись», и до самого конца жизни Пушкин стремится утвердить за собой качество писателя-беллетриста (в отличие от поэта-пророка), следуя, скорее, примеру Н. М. Карамзина, нежели Байрона. Так, прозаические произведения Пушкина тридцатых годов («Повести Белкина», «Дубровский», «Пиковая дама», «Капитанская дочка») – произведения беллетристические (не в ругательном, разумеется, а в настоящем смысле этого слова), отнюдь не преследующие цели, которая определяется сомнительным словосочетанием «самовыражение в искусстве». Многого стоит признание нашего героя: «От кого бы я ни происходил, – образ мыслей моих от этого никак бы не зависел. Отказываться от него я ничуть не намерен, хоть нигде доньше я его не обнаруживал, и никому до него дела нет» [цит. по: Томашевский, 1990, с. 64].

Этот переход от романтической приверженности «призраку нежному» к утверждению частного способа писательской жизни произошёл в Михайловском, но произошёл не безболезненно. Вся предшествовавшая ему катастрофическая полоса жизни в Одессе, со страстями и постоянно уязвляемой гордостью, есть пролог этого мучительного перехода, сущность которого психологически можно интерпретировать следующим образом: от необходимости самоутверждения в искусстве и, что ещё важнее, в жизни – к синтетическому развёртыванию их относительно друг друга.

Формальным знаком этой метаморфозы является стихотворение «Пророк». Это кажется парадоксальным: ведь в «Пророке» утверждается служение едва ли не мессианского свойства, служение, ничего общего не имеющее с участием писателя-беллетриста. Да, «Пророк» есть апология мессианского служения словом, это есть квинтэссенция, наивысшее выражение романтизма, тот предел, за которым никакой романтизм уже не нужен, – самый пафос романтического индивидуализма снимается, романтический («Духовной жаждою томим, / В пустыне мрачной я влачился») поэт умирает («Как труп в пустыне я лежал»), происходит его перерождение, теперь он вне собственной индивидуальности, он становится инструментом, куклой Бога (если позволено будет так выразиться). «Пророк» есть прощание Пушкина с романтическим «пророком» в себе, прощание с иллюзиями личностного, исторического, политического толка. А именно таким «пророком» для своего поколения был Пушкин до Михайловской ссылки. Предшествовавшее Михайловскому периоду творчество поэта снискало ему сомнительные лавры «пророка декабризма». Прощанием с «пророческим» образом жизни стала для поэта его северная ссылка.

Имеет смысл предложить цепочку событий, результатом, сгустком которых стало стихотворение «Пророк». Разочарованность в свободолюбивых идеях (см. стихотворение «Сеятель»), в просвещении («Где капля блага, там на страже / Иль просвещение, иль тиран») могла привести Пушкина к утрате прежнего мировоззренческого стержня. По доносам Воронцова, поведение Пушкина в самом деле не содержало в себе ничего такого (за исключением разве что хатчинсоновского «афеизма», который, как известно, позднее и послужил формальным поводом для высылки Пушкина из Одессы в Михайловское), за что его могли бы преследовать власти. Княгиня Вера Вяземская в письмах мужу из

Одессы упоминает о трёх предметах любовных вздыханий поэта, под которыми принято иметь в виду Амалию Ризнич, Каролину Собаньскую и Элизу Воронцову. Однако приезд княгини Веры в Одессу произошёл более чем через месяц после того, как Амалия Ризнич покинула город. В таком случае, кто же была третья?.. Вопрос остаётся без ответа.

То большое чувство, которое испытал Пушкин, судя по его письмам начала 1830-го года, к Каролине Собаньской, само по себе могло максимально наполнить сердечную жизнь поэта накануне его высылки из Одессы. С нею он познакомился в 1821 г. в Киеве, и нет совершенно никаких оснований предполагать, что роман действительно имел место, т. е. развивался до 1823-1824 гг. Между тем, по свидетельству брата поэта, к одесскому периоду относится случай, когда «однажды в бешенстве ревности он пробежал 5 верст с обнаженной головой под палящим солнцем по 35 градусам жара» [А. С. Пушкин..., 1985, т. 1, с. 63]. Чем не «пустыня мрачная»? Эта картина удивительным образом напоминает погоню Печорина за Верой («Герой нашего времени»). Известно, что после смерти Пушкина Лермонтов общался с братом поэта, и вполне могло быть, что в основу этой погони Печорина лег рассказ Льва Сергеевича. Или «пустыней мрачною» могла быть степь, полная саранчи, на борьбу с которой был откомандирован Пушкин Воронцовым. Возможно, что тогда-то, в «пустыне мрачной», и посетило Пушкина видение, затем трансформированное в как бы библейский сюжет. Поэт, искавший ответа своим чувствам «среди детей ничтожных мира», вдруг, оказавшись наедине с собой, осознал непреодолимую бездну между творчеством и жизнью, бездну, напряжённое переживание которой достигло своего предела. Выбор, который сделал Пушкин, отказавшись от бегства за границу и предпочтя ей северную деревню, в духовном отношении могло определить потрясение, вызванное видением шестикрылого ангела, в который превратился идеальный образ «нежного призрака», в результате чего жизнь оказывалась в императивно-категорической зависимости от творчества, коллизия между ними таким образом сделалась снята, избыта. Если мы ошибаемся, что вполне возможно, то все же предложенная линия, даже как легенда, весьма красива.

Таким образом, «призрак нежный» байронического толка (или «мимолётное виденье», которое, есть перифраз упомянутой строфы из посвящения «Чайльд-Гарольду», данной во французской транскрипции, которая, вполне возможно, была сделана Екатериной Раевской и стала известной Пушкину благодаря подобранным в Гурзуфе клочкам бумаги) превратился в диктат Божества.

О Пушкине сохранилось такое количество биографических материалов (мемуаров, записок, свидетельств), как ни о ком другом. Казалось бы, не составит труда воссоздать по ним жизнь поэта и образ его самого. Как-то В. В. Вересаев предпринял такую попытку [Вересаев, 1990, т. 2–3], и она дала поразительный результат: читая о Пушкине, мы, в сущности, ничего о нём не узнаем, образ поэта становится как бы ещё менее определенным, менее уяснимым. Он сам стал «мимолётным видением», «образом, который промелькнул перед нами, который мы видели, но никогда более не увидим», «призраком нежным».

Таким образом, легенда об «утаённой любви» («призрак нежный») есть одна из aberrаций «байронического типа», которая, будучи воплощена в романтической лирике Пушкина, представляет собой не что иное, как попытку зашифровать (и тем самым утвердить) исключительность собственного культурного образа.

Литература

А. С. Пушкин в воспоминаниях современников : в 2-х томах / под общ. ред. В. В. Григоренко и др. Москва : Художественная литература, 1985. Т. 1. 547 с.

А. С. Пушкин в воспоминаниях современников : в 2-х томах / под общ. ред. В. В. Григорен-

- ко и др. Москва : Художественная литература, 1985. Т. 2. 575 с.
- Байрон Дж. Г. Собрание сочинений в 4-х т. Т. 2. Москва : Правда, 1981. 320 с.
- Бартенев П. И. Пушкин в Южной России. Москва : Русский архив, 1914. 171 с.
- Вересаев В. В. Сочинения: В 4-х т. Т. 2. Пушкин в жизни / под ред. Ю. Фохт-Бабушкина. Москва : Правда, 1990. 560 с.
- Вересаев В. В. Сочинения: в 4-х т. Т. 3. Пушкин в жизни (окончание); Гоголь в жизни / под ред. Ю. Фохт-Бабушкина. Москва : Правда, 1990. 560 с.
- Керн (Маркова-Виноградская) А. П. Воспоминания. Дневники. Переписка / сост., вступ. ст. и прим. А. М. Гордина. Москва : Правда, 1989. 480 с.
- Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. Москва ; Ленинград : Academia, 1935. 926 с.
- Переписка А. С. Пушкина : в 2 т. / ред. коллегия: В. Э. Вацуρο и др. Москва : Художественная литература, 1982. Т. 2. 575 с.
- Пушкин. Письма / под ред. Б. Л. Модзалевского. В 3-х т. Москва–Ленинград : Государственное издательство, 1926. Т. 1. 1815–1825. 539 с.
- Томашевский Б. В. Пушкин. Работы разных лет. Москва : Книга, 1990. 670 с.
- Томашевский Б. Пушкин : в 2-х т. Т. 2. Москва : Художественная литература, 1990. 383 с.
- Childe Harold's Pilgrimage: A Romaunt. By Lord Byron. Philadelphia : Henry Carey Baird, 1856. 377 p.